РЯБОВКА

На обложке девочка – нежная, румяная, с толстой книжкой в пухлых ручках, а в книжке цветочек. Название игриво-жеманное: «Девочка в саду». Но это мистификация. На самом деле название другое.

«Водка была холодной и сладкой. Можно было даже не закусывать. Она маслянисто ложилась на нёбо, заполняла всю полость и текла тонкой горячей струйкой по пищеводу куда-то в центр».

А не летела в глотку, как в трубу, – в этом и жизненный опыт, и отношение к продукту, и готовность разделить с читателем радость бытия. Через пару страниц нам откроются сокровенные тайны семидесятых годов – лопнет наскоро залатанная сорочка развитого социализма, обнажая сладковато-терпкую сердцевину Застоя.

«Производили в те годы на нашем винзаводе такие страшные напитки, как “Волжское” и “Солнцедар”. Изготавливали их из алжирского красного сухого вина, которое привозилось на завод вагонами в алюминиевых бочках. И вот однажды кто-то где-то что-то перепутал, и в таких же бочках на завод пришел прекрасный азербайджанский портвейн “Агдам”».

Типичный рябовский ход – не спеша, вразвалочку. Нам сообщают достоверные факты производственного характера. Знакомят с Татьяной, Жоркиной женой («ну, чтобы ничего не объяснять, при росте сто шестьдесят – вес сто двадцать»).

«И вот с некоторых пор стала Танька приревновывать своего ненаглядного к каким-то неопределенным мифическим дамам, которые у него где-то могут быть.

Получилось так, что, уезжая летом в свою деревню к родителям, она очень забеспокоилась за Жоркину судьбу. Жорка должен был к ней, в ее деревню, приехать через неделю, но как он проведет эту неделю без нее дома, ей было непонятно».

Ну правильно: возьмет да и приведет какую-нибудь шмару в гнездо семейное, в спальню, в ванну.

«Танькин острый женский ум решил проблему сразу, и в тот же день, как она узнала об ошибке снабженцев с винзавода, у нее в квартире ванна была заполнена прекрасным крепленым вином. Вино Таньке привезли не в бутылках, не в канистрах и даже не в бочках вино привезли в автоцистерне, на боку которой была надпись “Молоко”. И сливали ей вино через кухонное окно прямо из цистерны.

Ванна “Агдама”! Вы понимаете, что это?!»

Понимаем: это – миф. Даже если автор начнет утверждать, что сам там был и тот «Агдам» пил, все равно: ванна «Агдама» – какой-то советский сюр, Сальвадор Дали из микрорайона Кузнечиха-2.

Олег Рябов хотел, чтобы его новая книга называлась так же, как программный рассказ «Агдам», но издательство провело опрос посетителей книжных магазинов, а это в основном дамы от 30-ти до 50-ти, и оказалось, что читательницы ни о каком Агдаме понятия не имеют, с этим словом у них почему-то ассоциируется эстрадный певец (Агдам – Богдан – Билан?..), поэтому на обложку вынесли название другого рассказа – «Девочка в саду».

В чем программность «Агдама»? Наверное, в точном соблюдении однажды найденного и проверенного рецепта: соединение правды и вымысла с легкой приправой иронии плюс – непременное присутствие автора, даже если в роли рассказчика выступает кто-то другой. Собственно, это классический рецепт байки.

«В середине семидесятых все почему-то начали очень крепко выпивать. И знакомые, и малознакомые, и даже те, о ком я знал только понаслышке» – так начинается другой рассказ, «Лалла Рук».

Тот же самый прием – максимум достоверности в начале:

«Стоим мы как-то с Карасем и Чарли, моими хорошими друзьями и поэтами, в туалете Дома учителя и разговариваем о поэзии, на подоконнике – две большие бутылки «Алб де десерт», по карнизу идет большой одноглазый серый кот, под окном – пустой двор Мытного рынка, который метут два старых дворника».

Сейчас с документальной точностью появится еще один поэт, Юра Уваров, сообщит печальную новость – умер Соснора! – на которую рассказчик купится, бросится в Питер, явится в тамошний Союз писателей:

«– Когда похороны будут?

– А что – Витя умер? – спрашивает тетка у мужика.

– Утром умирал, – отвечает тот, – но мы его поправили».

До этого момента всё – чистая правда. Дальше байка мгновенно перерастает в миф. Мужик по имени Серега везет рассказчика в Михайловское, где тот ночует в дупле, видит Пушкина с Анной Петровной Керн и разгадывает тайну «чудного мгновенья». Вы скажете: это не Рябов придумал – начинать с молдавского в туалете, а заканчивать гением чистой красоты. Гофман, Гоголь, Проспер Мериме, Алексей Толстой… Вымысел ярче сияет на фоне обыденного пейзажа, это давно известно.

Но рябовский рецепт составлен таким хитрым способом, что фоном оказывается не реальность, а миф. Почему-то именно проходные, бытовые, прозаические детали приобретают выпуклость рельефа:

«Мы с Белкиным пили водку маленькими глотками в ожидании ухи и нашего друга Николая, сидя на открытой веранде ресторана.

Это было давно.

Это было в Городце.

Это сейчас Городец похож на глазированный пряник, а тогда это был покрытый пылью веков и легенд настоящий русский провинциальный город, не претендующий ни на что, кроме своей истории».

Дальше начнется та самая байка про Агдам, но «пыль веков» – вот уж газетный штамп, не правда ли? – загадочным образом ляжет в памяти зримой дорожной пылью.

Первые строчки рассказа «Дилижанс»: «Эту легенду рассказала мне старая проститутка Мери, а так как города нуждаются в своих мифах, я решил ее вспомнить и записать». Здесь карты открыты сразу, как в «Старухе Изергиль», и ждешь только мифа. Вот, пожалуйста: визит Александра Дюма в публичный дом на Нижнем базаре:

«Ну, в заведение-то их не пустили, узнав, что приехали французы на “дилижансе”. Так и сказали люди выборные, которые гостей встретили, что городской голова господин Пятов запретил французам заведение посещать без его ведома. Ну а барышни, несмотря на холод, вышли на балкон, чтобы посмотреть на гостей несостоявшихся: в провинциальном городишке тайн не бывает. Уехали гости, а дилижансом с тех пор называют тех, кого ждали, да не дождались».

Ну, забавно, любопытно. Ну да, города нуждаются в своих мифах. Теперь, проходя по Рождественской мимо Скобы в сторону Столбов, я представляю в дилижансе дородную фигуру автора «Трех мушкетеров» – и сам себе улыбаюсь. Но самое-то интересное в «Дилижансе» – про Кавказ: о нем уже никто, кроме Рябова, не расскажет.

«С Мери я познакомился в поселке Кавказ, который располагался когда-то вдоль берега Оки, между Молитовкой и Кунавинской слободой, и куда по своей воле старались не забредать простые граждане: такая нехорошая репутация сложилась у этого района за последние сто лет. Ни названий улиц, ни номеров домов, в почтовом смысле этого слова, в поселке не было: хибары, лачуги, землянки, бараки лепились друг к другу без всякого порядка, и разобраться в них не было никакой возможности, а заблудиться, потеряться или просто пропасть – легко».

Одна ученая дама, приехавшая в Нижний, требовала, чтобы ей предъявили лавочку Даля:

– Вот же, у Рябова написано: «каждый раз поэт объяснял мне, что он сидит на лавочке Даля» И рассказ называется – «Лавочка Даля!»

Но в рассказе-то не про лавочку написано. И в «Дилижансе» – не про дилижанс. И в «Агдаме» – не про «Агдам».

В отличие от псевдоисториков-краеведов, публикующих небылицы о Русском море, сакральном Кремле, столпе Святогора и прочий бред, автор, сшивая быль и вымысел, не прячет белых ниток, оставляя читателю право сомнения и удовольствие разоблачения. Но и это – всего лишь игра. А не игра – когда «я шел из гостей один, пьяненький и восторженный, совсем не мечтая побыстрее добраться домой. Я любил свой город и любил по нему гулять. Я даже любил просто посидеть один на улице на пеньке или на чужом крыльце, или на незнакомой скамейке, чтобы помечтать».

Искреннее чувство, которое живет на страницах рябовских рассказов, иногда теряясь в переплетеньях правды и вымысла, иногда просвечивая между строк, та самая *лирика* *прозы*, которая дороже иных поэтических изысков, – вот что придает мягкую терпкость напитку под названием «Рябовка». В самом чистом, неразбавленном виде этот состав представлен в рассказе «Лед».

«Отец штопал охан, развешенный на плетне, красивой деревянной рыбацкой иглой. Было раннее утро, и куры яростно разгребали хищными лапами навозную кучу, выискивая там что-то полезное для себя. Я вышел на зады, чтобы пописать, и, незамеченный, наблюдал за отцом – как тот босиком, в черных семейных трусах и короткой рубашке-распашонке, старательно работал. У отца худые длинные ноги бегуна-стайера, они у него не просто длинные и красивые; подошвы их твердые и жесткие, как кирзовые сапоги: он ходит по скошенной стерне и не чувствует. У него и на пальцах рук такая же кажа: чтобы узнать, есть ли напряжение в сети, он поплевывает сначала на пальцы, а потом уже берется за оголенные концы провода. Еще у отца необычные старинные круглые очки, трехдневная выразительная щетина и седые редкие волосы, прикрывающие раннюю плешину.

Вечером поплывем на рыбалку».

На рыбалку! С отцом! Вот счастье – лето, деревня, дача, река, лодка, отец. Уже не молодой, но крепкий, красивый. Строгий?

«Его очень любят ребята –и городские, и местные. Он с удовольствием занимается с ними, ему нравятся их проказы, он за них всегда заступается. А вот со мною он всегда строг и суров. Я его понимаю: отец должен быть суровым и требовательным к своему сыну, особенно если сын уже взрослый.»

Да, строгий. Пусть даже слишком строгий – он же твой, родной, единственный. Счастье, когда это понимаешь не задним числом, а здесь и сейчас, на этом берегу. Читаешь – завидуешь этим двоим, – отцу и сыну, большому и маленькому: все у них правильно, всё по местам. Маленький уже считает себя взрослым: он знает, как надо грести на рыбалке с оханом.

«Ночь теплая, светлая. Этот свет струится откуда-то с неба – наверное, из-за редких высоких облаков. На моторе мы поднимается вверх почти до Работок, а вот спускаться надо на веслах. Я знаю, как надо грести, и мы работаем почти молча. Отец сидит на транце лодки, надежно контролируя конец веревки, к которой прикреплен охан, смотрит в сторону и только изредка командует: “Потабань левым”, “Разворачивайся, будем вынимать”».

Счастье, когда можно вот так описывать жизнь – просто смотреть в свое детство, вглядываться в темноту, угадывая очертания лодки, фигуру отца на корме и себя, двенадцатилетнего подростка, сидящего на веслах. Это возможно, когда в душе твоей покой и согласие с миром. Так течет река, дует ветер, плывут облака. «Этот свет струится откуда-то с неба – наверное, из-за редких высоких облаков». Свет нужен не только художнику, фотографу, кинооператору, свет и в рассказе необходим, и наше восприятие текста во многом зависит от того, насколько правильно поставлен свет. Только что он был летний, ночной – а сейчас загорится дневной, весенний, от которого вода в огромной полынье сделается темно-синей.

«Мы с папой тоже плаваем с оханом в этой полынье. Грести трудно: все время под весла попадаются мелкие льдины, но они мешают еще сильнее больших –те хоть видно, от них уйти можно. Солнце светит, стоит звон и – азарт в душе непонятный от такого фестиваля.

Потом небо затягивается тучками, начинает моросить дождь, и мы остаемся на своей лодке в полынье одни – остальные рыбаки отловились. Дождь показался мне сначала теплым, но очень быстро он превратился из моросящего в секущий, со льдистым снегом. И полынья быстро уменьшилась…»

Со сменой освещения меняется настроение, растет напряжение, ощущение опасности, но только не чувство тревоги, только не страх: ведь рядом папа.

«Огромная многометровая льдина, выползшая на берег, преградила нам путь. Наверное, это называется торосом. Она была с метр толщиной и плоско лежала на берегу, и плоско спускалась в ледяную воду. Папа перекинул через нее лодочную сеть и обошел ее, а я забрался на плоскость льдины с веслом и пытался, отталкивая нос лодки, обвести ее вокруг. Ничего у меня не получалось. Да и сам я в какой-то момент понял, что скольжу по льдине вниз, лежа на животе, в реку, в эту черную холодную бездну. И весло выпало из рук и уже булькнуло туда… Было не страшно…»

Не страшно, потому что рядом отец. Мальчик так в нем уверен, что даже не пытается удержаться, только смотрит, как папа медленно снимает сапоги, медленно забирается на льдину.

«Я сполз уже к самой воде, когда папа добрался до меня и поднял мою ничего не чувствующую от холода руку на цепь лодки. Я судорожно и намертво ухватился. Потом мы выбрались на берег. И лодку вытащили. Папа велел мне снять сапоги и вылить воду. Сам он махнул рукой куда-то в сторону домика бакенщика и, буркнув: “Я пошел за мужиками”, скрылся за сеточкой моросящего дождя. Он скрывался как-то постепенно – просто растворился. А я остался. Я все вглядывался-вглядывался, но ничего не видел: ни деревни, ни отца. Он растворился в дожде, а я сидел на льдине, и мне не было холодно…»

Ну, если сидишь на льдине и не мерзнешь, значит, сам уже заледенел. Почему отец его оставил, не взял с собой – пацан бы и в дороге согрелся, и скорее попал в тепло; почему, решив тащить лодку за цепь, заставил и сына идти по берегу, отталкивая лодку веслом, а не сидеть в лодке, отталкиваясь от берега? Почему не нашел теплых слов, а только буркнул: я пошел за мужиками? Спартанское воспитание? А почему с другими мальчишками ему было интереснее возиться? Может быть, он просто не любит сына? Тогда понятно, почему рассказ называется не «Рыбалка с оханом», или «Отец», или даже «Обида»: «Лед» – куда уж яснее!

А вот и нет. Никаких обид, никаких подтекстов. Потому что свет поставлен так, что видно: они любят друг друга – отец и сын. Потому что иначе этот ставший взрослым мальчик не смотрел бы в свое детство, как в летнее небо, с которого даже ночью, даже сквозь облака струится на землю спокойный теплый свет.

Мы все виноваты перед родителями уже потому, что остаемся, когда они уходят. Но это неизбежность. А пока они еще здесь, с нами, на нашем берегу, пока ничего не стоит лишний раз написать, позвонить, проведать… Да что говорить! Разве бывает лишний раз, если твоего звонка, письма, приезда ждут каждый день? Может быть, поэтому так легко вспоминается детство – там не за кого было отвечать. Двадцать лет разницы – и всё на своих местах: мы маленькие – они большие, их дело учить, кормить и защищать, наше дело расти, слушаться и любить.

…Читаешь Рябова, и первое впечатление – простота. Все на поверхности, даже лукавство. Но это обманчивое впечатление. Рябов не так прост, как кажется на первый взгляд. Когда это понимаешь, становится интересно – вглядываться.